

С. А. Фомичев

ПУШКИНСКАЯ
ПЕРСПЕКТИВА


ЗНАК
Москва
2007

ИЗБРАННЫЙ ДАЛЬ

Во всех, даже самых высоких авторитетных отзывах о художественном даровании В. И. Даля изначально было принято отмечать неискренность его писательской манеры. По мнению В. Г. Белинского, «искусство не его дело»¹, хотя он и «создал себе особый род поэзии, в котором у него нет соперников. Этот род можно назвать *физиологическим*²». Н. В. Гоголь признавал, что «его сочинения — живая и верная статистика России»³, — и это выкупает «отсутствие творчества в авторе».⁴ Не видел и И. С. Тургенев в произведениях Даля «особенно художественного достоинства со стороны содержания», хотя и понимал, что он занял «одно из почетнейших мест в нашей литературе»⁵.

Было бы наивно заниматься опровержением подобных мнений, которые как-никак принадлежат реальным творцам литературного процесса. Однако художественный потенциал В. И. Даля был гораздо выше пытливого и изощренного этнографизма, в котором Казаку Луганскому в ту пору действительно не было равных и который в реальном развитии русской литературы ее Золотого века приобретал принципиально важное значение.

Прибегнем, однако, к нетрадиционному приему. Нетрудно выстроить, скажем, те или иные далевские произведе-

¹ Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. 1. М., 1953. С. 153.

² Там же. Т. 9. С. 398.

³ Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. Т. 7. М., 1978. С. 290.

⁴ Там же. С. 270.

⁵ Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем. Т. 1. Л., 1978. С. 278.

ния в качестве тематических и жанровых циклов⁶. Мы же намеренно отберем несколько разножанровых сочинений, которые свидетельствуют о богатстве его художественной палитры. Итак, представим на выбор несколько произведений, обычно не подвергавшихся развернутому анализу именно потому, что они не грешат избыточным этнографизмом (и физиологизмом), но являются — каждый в своем особенном роде — подлинными шедеврами.

1

Принято считать, что в «Сказке о Георгии Храбром и о волке» В. И. Даль бережно сохранил особенности пушкинского сказа, почерпнутого у некоего татарского сказочника, употребив татарские слова и ломаную русскую речь. Такое допущение основано на недоразумении: М. К. Азадовский ошибочно полагал, что эта сказка была впервые напечатана при жизни Пушкина (и с указанием на то, что сказка эта была им рассказана Далю) в смирдинском альманахе «Новоселье» (1833)⁷ и потому-то, по его мнению, Казак Луганский едва ли внес какие-либо конструктивные элементы, отсутствующие в пересказе Пушкина. На самом

⁶ О цикличности рассказов Даля см.: *Фесенко Ю. П.* Проза В. И. Даля. Творческая эволюция. Луганск; СПб., 1999. С. 158–159.

⁷ См.: *Азадовский М. К.* Сказка, рассказанная Пушкиным Далю // Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. Т. 4–5. М.; Л., 1939. С. 488–489. На самом деле «Сказка о Георгии Храбром и о волке» была впервые напечатана В. И. Далем (Казак Луганским) в 1836 году в «Библиотеке для чтения», и только при перепубликации в 1839 году в «Былях и небылицах» снабжена авторским примечанием: «Сказка эта рассказана мне А. С. Пушкиным, когда он был в Оренбурге и мы вместе поехали в Бердскую станицу, местопребывание Пугача во время осады Оренбурга». Альманах же «Новоселье» вышел в начале 1833 года (цензурное разрешение 1 февраля 1833 года), за несколько месяцев до поездки Пушкина в Оренбург. Здесь были помещены далевская «Сказка о некоем православном покойном мужичке и о сыне его, Емеле дурачке», а

деле стиль повествования в этой сказке выявляет скорее далевские, чем пушкинские черты. Даль мог внести в пушкинский рассказ и новые эпизоды: разработать фрагмент о приключении волка в шольне, усилить «человеческие» черты главного персонажа⁸, добавить эпизологический мотив (объяснение повадок животных) при упоминании о рыбах, не попавших на звериный суд⁹. Экзотическая же словесная окраска могла быть использована писателем при публикации в качестве противоцензурного маневра.

В собрании Даля имелись и другие записи сказочного сюжета «Волк-дурень»¹⁰, две из которых были включены в посмертное издание «Народных русских сказок» А. Н. Афанасьева (№ 55–56), а еще одна («Волк») сохранилась в собрании «Народные русские сказки не для печати»¹¹.

также поэма Пушкина «Домик в Коломне», в которой по-своему обыграна сюжетная коллизия одной из «заветных сказок» (очевидно, также позднее рассказанная Пушкиным Далю), «Батрак Марфутка». См.: *Шаниф М. И.* Пушкин и русские «заветные» сказки (о фольклорных истоках фабулы «Домика в Коломне») // Пушкинская конференция в Стэнфорде. 1999. Материалы и исследования. М., 2001. Текст «Батрака Марфутки» см. в кн.: Народные русские сказки не для печати, заветные пословицы и поговорки, собранные и обработанные А. Н. Афанасьевым. М., 1997. С. 393–396.

⁸ Ср., например, очерк: *Даль В. И.* Волк // Литературная газета. 1844. № 3.

⁹ «...рыбы по несподручности пешего перехода послали от себя послов – трех черепах с черепашками, которые, однако же, уморившись насмерть, к сроку запоздали, а потому дело на сходке обошлось без них. И с той поры, сказывают, рыбы лишены за это навсегда голоса» (*Даль В. И.* Оренбургский край в художественных произведениях писателя. Оренбург, 2001. С. 40–41). Далее сказка цитируется по этому изданию с указанием страниц непосредственно в тексте статьи.

¹⁰ По указателю сказочных сюжетов Аарне-Томпсона (тип АТ 122).

¹¹ Народные русские сказки не для печати. С. 27–28.

Из всех этих вариантов остановимся на том, который сюжетно наиболее близок к сказке Пушкина—Даля:

Дело было в старину, когда еще Христос ходил по земле вместе с апостолами. Раз идут они дорогою, идут широкою; попадается навстречу волк и говорит: «Господи! Мне есть хочется!» — «Поди, — сказал ему Христос, — съешь кобылу». Волк побежал искать кобылу; увидел ее и говорит: «Кобыла! Господь велел тебя съесть».

Далее рассказывалось, как волк был избит сначала кобылой, потом бараном и, наконец, у волка оторвал хвост портной, укрывшийся после того от стаи хищников на дереве. Концовка сказки, как и во всех остальных версиях данного сюжета, говорит о гибели дурня:

Вот волки прибежали и говорят: «Станем, братцы, доставать портного; ты, кургузый ложись под испод, а мы на тебя, да друг на дружку уставимся — авось достанем!» (...) Видит портной беду неминуемую: вот-вот достанут! И закричал сверху: «Ну, уж никому так не достанется, как кургузому». Кургузый как выскочит из-под низу да бежать! Все семеро волков попадали наземь да за ним вдогонку; нагнали и ну рвать, только ключья летят. А портной слез с дерева и пошел домой¹².

В данной сказке налицо отмеченные В. Я. Проппом основные мотивы (обман, неожиданный испуг, роняние) и кумулятивный сюжет¹³, которые свидетельствуют о древ-

¹² Народные русские сказки А. Н. Афанасьева. Т. 1. Л., 1957. С. 80. Сюжет этот (с указанием на собрание Даля) был включен Афанасьевым в книгу «Народные русские легенды», запрещенную в России цензурой и изданную в Лондоне в 1870 году.

¹³ По определению В. Я. Проппа, «основной художественный прием этих сказок состоит в каком-либо многократном повторении одних и тех же действий или элементов, пока созданная таким образом цепь не порывается или не расплетается в обратном порядке» (Пропп В. Я. Фольклор и действительность. Избранные статьи. М., 1976. С. 243).

нейшем происхождении животного эпоса¹⁴. В основе сказки о волке — классический, трикстерский¹⁵ тип животного эпоса. «Основная тема, — указывает исследователь животного эпоса, — соперничество и борьба, где трикстеру противостоит обычно животное, гораздо более сильное, чем он сам. Типичная ситуация, в которой находятся животные, — голод. Спор, соперничество разыгрываются вокруг добычи, связаны с едой¹⁶. (...) Странствия и встречи во время странствий — вот стержень сказки о животных (...) ее «ударная сила» по-прежнему остается в комических сюжетных ситуациях»¹⁷.

Подтверждением древности сюжета АТ 122 служит и существование его в баснях Эзопа, которые, с одной стороны, во многом основаны на народной традиции, а с другой, были любимым чтением в Древней Руси¹⁸.

Наряду с этим в сказочном рассказе о глупом волке налицо и приметы нового времени — не только в несколько странном для сказок зачине о путешествии Христа с апостолами, но и в том, что наиболее хитрым персонажем здесь оказывается портной, что отражает народные представления об этой профессии (ср. пословицы типа: «Не столько купец на аршине, сколько портной на ножницах унесет», «Что портной на ножницах унес, то Бог дал»¹⁹). Архаический сказочный сюжет — и это обычно для жи-

¹⁴ *Пропф В. Я.* Русская сказка. Л., 1984. С. 313—314.

¹⁵ От англ. *trickster* — обманщик, хитрец (в сказках иногда неудачливый).

¹⁶ *Костюхин Е. А.* Типы и формы животного эпоса. М., 1987. С. 66.

¹⁷ Там же. С. 94—95.

¹⁸ См.: *Адрианова-Перетц В. П.* Басни Эзопа в русской юмористической литературе XVIII века // Изв. отд. русского языка и словесности. Л., 1929. Т. II. Кн. 2. С. 377—400. Первой русской обработкой эзоповского сюжета о глупом волке стала басня М. В. Ломоносова «Волк-пастух».

¹⁹ *Даль В. И.* Толковый словарь великорусского языка. Т. 3. М.; СПб., 1882. С. 323. Упоминание о портном, перехитрившем глупого волка, развернуто в «Сказке о Георгии Храбром и о волке»

вотного эпоса — обогащен легендарными и анекдотическими мотивами.

В примечании к сказке о глупом волке Афанасьев привел рассказ, услышанный им от «одного поселянина»:

Пасли два пастуха овечье стадо; захотелось одному водицы испить и пошел он через лес к колодцу. Шел, шел и увидел большой ветвистый дуб, а под ним вся трава примята и выбита. «Дай посмотрю, что здесь делается», — сказал пастух и влез на самую верхушку дерева. Глядь, едет святой Георгий, а вслед за ним бежит многое множество волков. Остановился Георгий у самого дуба; начал рассылать волков в разные стороны и наказывать всякому, чем и где пропитаться. Всех разослал; собирается уж ехать; на ту пору тащится хромой волк и спрашивает: «А мне-то что ж?». Егорий говорит: «А тебе вон на дубу сидит!» Волк день ждал и два ждал, чтобы пастух слез с дерева, так и не дождался; отошел подальше и схоронился за куст. Пастух огляделся, спустился с дуба — и бежать. А волк как выскочит из куста, схватил его и тут же съел²⁰.

В таком рассказе угадывается один из мотивов сюжета АТ 122, но с кардинальным переосмыслением характеристики центрального персонажа: волк здесь, хотя и увечен²¹, но никак не глуп. В большей же степени здесь отражен духовный стих о Егории Храбром. По народным представлениям, один из трех (наряду с Николой и Ильей) самых почитаемых святых угодников, Егорий, прибыл на Русь в то время, когда «земля русская была словом заказана, заповедана, что по той земле ни пеш человек не прохаживал, ни на коне по ней никто не проезживал», едет к ней на своем

в самостоятельный эпизод в шольне, где снова использован этиологический мотив: кривой Тараска обряжает волка в собачий тулуп, так что тот «стал теперь ни зверем, ни собакой: спеси и храбрости с него посбили, а ремесла не дали» (с. 48).

²⁰ Народные русские сказки. Т. 1. С. 476.

²¹ Это можно истолковать как рудимент традиционного сюжета АТ 122.

коне ретивом св. Егорий Храбрый. Наезжает он на землю русскую, и здесь перед ним являются «леса темные, дремучие, горы высокие и холмы широкие, моря глубокие и реки широкие, звери лютые и рогатые, стадо змеиное, лютое». Несмотря на это, хочет Егорий Храбрый «ту-то проехать, ту-то проторити». Для этого «возговорил он слово вечное», и вдруг, «по Божьему всевелению, по Егорьеву молению по всей земле светлорусской разрастаются леса темные, раскидаются леса дремучие, рассыпаются горы высокие, становятся холмы широкие, текут моря глубокие, бегут реки широкие: заселятся звери могучие, плодятся звери рогатые; они пьют-едят повеленное, от Егория Храброго заповеданное».

Наезжал Егорий на стадо звериное,
 На серых волков, на рыскующих;
 И пастят стадо три пастыря,
 Три пастыря да три девицы,
 Егорьевы родные сестрицы;
 На них тела, яко еловая кора,
 Влас на них, как ковыль трава,
 Ни проедтить Егорью, ни проехать,
 Егорий святой проглагольвал:
 «Вы, волки, волки рыскучие!
 Разойдитесь, разбредитесь,
 По два, по три, по единому,
 По глухим степям, по темным по лесам;
 А ходите вы повременно,
 Пойте вы, ешьте повеленное,
 От свята Егория благословения!»
 По Божьему всё повелению,
 По Егорьеву молению,
 Разбегались звери по всей земли,
 По всей земли светло-Рускией:
 Они пьют, едят повеленное
 От Егория Храбраго...²²

²² Историческая Христоматия церковно-славянского и древнерусского языка / Сост. Ф. Буслев. М., 1861. С. 1618.

Серому же в «Сказке о Георгии Храбром и о волке» для «питья-еды» забыл святой угодник что-либо определить. За обиженных сайгаков хищника прежде всего наказывают на сходке зверей.

В «Сказке о Георгии Храбром и о волке» хищник не столько глуп, сколько простодушно убежден в своем естественном праве на пропитание. Он постоянно, после очередной расправы является к святому угоднику с просьбой восстановить справедливость. Георгий же, в отличие от утопического землеустроителя (таким он предстает в духовных стихах), превращен в безвольного владыку²³, который надоедливому волку ничем реально помочь не хочет.

Георгий Победоносец не только считался небесным покровителем Руси, но в качестве символа русского государства был изображен на древнем гербе. Однако в народе издавна жила и память о своем окончательном закабалении, выраженная в пословице «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день». Именно поэтому сатирическая интерпретация народной сказки (и духовного стиха) у Пушкина вполне соответствовала исконному российскому сетованию, выраженному в пословице «До Бога высоко, до царя далеко», которая обычно молвилась в ответ на своеволие местных властителей.

Народная сказка о глупом волке в публикации Даля носит черты целенаправленной литературной обработки — и, вероятно, не только далевской. «При всех сюжетных совпадениях, — указывает Е. А. Костюхин, — сатирический эпос — не фольклорное, а литературное явление. Фольклорный материал не только коренным образом переработан и связан с гротеском нового типа, но и значительно переосмыслен. В литературном животном эпосе пародируются расхожие литературные стилистические формулы,

²³ Возможно, в такой интерпретации святого угодника отразилось народное присловье: «На Руси два Егорья: один холодный, другой голодный» (26 ноября и 23 апреля).

штампы официальной речи. Такого типа пародирования народная сказка не знает»²⁴.

Ср. в сказке Пушкина—Даля:

По этой мирской сходке видели мы, что Георгий Храбрый, набольший всем зверям, скотине, птице, рыбе и всякому животному, успел уже постановить кое-какой распорядок, указал расправу, расписал и порядил заплечных мастеров, волостных голов, писарей, сотских и десятских, словом, сделал все, как быть сделано и должно (с. 42).

Серый, как истый мученик первобытных и первородных времен, когда не было еще настоящего устройства, ни порядка, хоть были уже разные чиновники — сотские, тысяцкие и волостные, — серый со смирением и кротостью коренных и первоначальных веков, зализал кое-как раны и пошел опять к Георгию с тем, чтобы съесть и его самого, коли и теперь не учинит суда и расправы и не разрешит скоромного стола. «Еще и грамоты не знают, — подумал серый про себя, — и переписка не завелась, а какие крючки и проволоочки по словесной расправе выкидывают!» (с. 45)

В духовном стихе говорится только о том, как Егорий Храбрый установил на Руси порядок. В «Сказке» же он постоянно упоминается как «до сих пор» действующее (то есть фактически бездействующее) лицо.

В народных сказках глупый волк непременно погибал. В интерпретации Пушкина—Даля он уцелел, но никакой власти, окончательно разуверившись в ней, над собой признавать не желает:

Серый никого над собой знать не хочет, всякую веру потерял в начальственную расправу, а живет записным вором, мошенником и думает про себя: «проклинал я вас, кланите же и вы меня, а на расправу на меня до дня страшного суда не притяните. Там что будет — не знаю и знать не хочу, знаю только, что до того времени с голоду не околею» (с. 48—49)²⁵.

²⁴ Костюхин Е. А. Типы и формы животного эпоса. С. 207.

²⁵ Развитая в сказке коллизия взаимоотношений нерадивого «устроителя» и обездоленного подданного, вероятно, принадле-

2

Оригинальность литературного дарования Даля определяется прежде всего его владением самобытным, живым словом, в котором запечатлено бытие русской нации. Его дар языковеда особенно ценил Пушкин, горячо поддерживавший идею создания «Толкового словаря». Об одной из бесед с поэтом Даль вспоминал так:

«Сказка сказкой, — говорил он, — а язык наш сам по себе. А как бы нигде нельзя дать этого русского раздолья, как в сказке. А как бы это сделать, чтобы выучиться говорить порусски и не в сказке... да нет, трудно, нельзя еще. А что за роскошь — что за смысл, какой толк в каждой поговорке нашей... что за золото... а не дается в руки, нет! И отчего это? или нам надо в литературе другого Петра Великого, или нам еще долго, долго дожидаться, покуда она у нас дой-

жала Пушкину. Это вполне соответствует его представлениям о причинах постоянных возмущений казачьей вольницы, в конечном счете вылившихся в Пугачевщину. В первой главе «Истории Пугачева» об этом говорилось так (обратим внимание на кумулятивность повествования): «Петр Великий принял первые меры для введения Яицких казаков в общую систему государственного управления. В 1720 году Яицкое войско было отдано в ведомство Военной коллегии. *Казачи возмущались* (...). С самого начала 1762 года стороны Логиновской Яицкие казаки начали жаловаться на различные притеснения, ими претерпеваемые от членов канцелярии, учрежденной в войске правительством: на удержание определенного жалования, самовольные налоги и нарушение старинных обычаев рыбной ловли. Чиновники, посылаемые к ним для рассмотрения их жалоб, не могли или не хотели их удовлетворить. *Казачи неоднократно возмущались* (...). Местное начальство воспользовалось и сим случаем, чтобы новыми притеснениями мстить народу за его сопротивление. Узнали, что правительство имело намерение составить из казаков гусарские эскадроны, и что уже повелено брить бороду. Генерал-майор Траунберг, присланный для того в Яицкий городок, навлек на себя народное негодование. *Казачи волновались...*» (IX, 9—10. Курсив мой. — С. Ф.).

дет и созреет сама; все это есть в России, все Петр подвинул одним махом вперед на 3 века, а слово отстало; слово — живая тварь, создание, плодится и рождается от семени и зачатка, его наготове из-за моря не вывезешь... а надо, надо, стыдно это, надо же нам жить своим добром, не все чужим поживляться — этим не разживешься, богат не будешь»²⁶.

В свое время Пушкин восхищался образным словом «выползина», услышанным от Даля, и именно так назвал свой новый сюртук, предполагая нескоро его сменить²⁷. Это слово, по-видимому, недаром промелькнет в далевском рассказе «Бред»²⁸.

Уже самое начало рассказа невольно вызывает в памяти онегинскую строфу о «Петербурге неугомонном», который «барабаном пробужден», хотя у Даля речь идет не о столице:

Усталый, изнеможенный воротился я с прекрасного, великолепного бала. Заря занималась; Божий мир, после законного отдыха, собирался отряхнуть студеною росу с век своих и оживал для дела, для труда и работы; думаю, что в окрестных селах босые ноги уже спускались с полатей, кутников, коников, голбцев и печей; что гласная позевота и тихая утренняя молитва просыпалась, и что тут и

²⁶ Воспоминания Даля цитируются по тексту, уточненному Ю. П. Фесенко: «Воспоминания о Пушкине» В. И. Даля. Авторизованная писарская копия // Пушкин и его современники. СПб., 1999. Вып. 1 (40). С. 15.

²⁷ О сюртуке Пушкина П. И. Бартенев со слов Даля писал: «За несколько дней до своей кончины Пушкин пришел к Далю и, указывая на свой только что сшитый сюртук, сказал: “Эту *выползину* я теперь не скоро сброшу”». Выползиною называется кожа, которую меняют на себе змеи, и Пушкин хотел сказать, что этого сюртука надолго ему станет. Он действительно не снял этого сюртука, а его спорили с него 27 января 1837 года, чтобы облегчить смертельную муку от раны (Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. СПб., 1998. С. 536).

²⁸ Сочинения Даля здесь и далее цитируются по: *Даль В. Полн. собр. соч.*: В 10 т. СПб.; М., 1897—1898.

там костистые кулаки спросоня старались попасть в рукава зипуна и сермяги. А я, с одуревшею головою, в полупамятном состоянии ехал домой, покончив ночь восхитительной пляской (5, 98).

Воспоминание о Пушкине промелькнет и чуть ниже, когда герою бал уже будет мерещиться в сладкой полудреме:

А бал великолепный — и что прелестей! вот тянутся вереницей, летом, летом... белянская, голубенькая, еще розовенькая... и все кружится, вьется, несется... что-то мутно становится и темно... все это, конечно, *выползины*... а что в них, этого не видно: чужая душа — потемки; все это, конечно, подготовлено не на век, потому что день наш — век наш, а что там будет — этого никто не знает, никто не видал... (5, 97. Курсив мой. — С. Ф.).

А мысль о неминуемой смерти в размышлениях героя рассказа приобретает неожиданный поворот, где откликнется стихотворение другого поэта, А. И. Одоевского, — его «Бал»:

Открылся бал; кружась, летали
 Четы младые за четой;
 Одежды роскошью блистали,
 А лица — свежей красотой <...>
 ...Зал гремел;
 Вдруг без размера полетел
 За звуком звук! Я оглянулся,
 Мороз по телу пробежал.
 Свет меркнул... Весь огромный зал
 Был полон остовов <...>
 Плясало скопище костей²⁹.

И дальше, уже в сонном бреду герою—рассказчику представляются похороны с дежурной надгробной речью, в которой, однако, недремлющее сознание угадывало какой-то иной, странный смысл. Смысл этот был по-своему изложен

²⁹ Поэзия и письма декабристов. Горький, 1974. С. 184—185.

пробудившимся героем под особым заглавием: «Последний бенефис, или Скоморох раскланивается». В свою очередь и здесь очевиден традиционный художественный ход, восходящий прежде всего к раннему И. А. Крылову, автору трагедийных похвальных речей («Похвальная речь в память моему дедушке», «Похвальная речь науке убить врага», «Похвальная речь Ермалафиду»).

В самом деле, что осталось в миру от покойника «с волчьим зубом и лисьим хвостом», — покойника, который «говорил всегда, что должно, а делал, что было нужно» (5, 101). Остался один мундир. Но на что он теперь годен?

Сдать его на вечные времена в платяную, поколе его моль и тля не изведут в конец. Остатки та же моль разнесет на пыльных лапочках своих, а ветры развеют по туку, вместе с самою молью (5, 102).

В концовке же рассказа заметна гоголевская интонация (ср. его повесть «Нос»):

Очнувшись, я с трудом опомнился от бессмысленного бреда и подумал: «Что за чепуха ину пору в голову придет; ну, а как она одолеет тебя, что и не опознаешься, а подумаешь: быть? — Вот и спишишь с ума. Да, человек не скотина, испортить его недолго (5, 103).

Неподражаемый далевский колорит безошибочно угадывается в каждом повороте этого намеренно насыщенного традиционными мотивами рассказа. Но дело не только в колорите, но в особом видении жизни, о котором не без иронии однажды обмолвился писатель, сравнив себя с фигляром, «который, указывая на картины фонаря своего, ломаным и искаженным языком объясняет глубокое их значение, не оставляя нас, при каждом удобном случае, поучительными словами своими. И я делал то же: почти каждое видение подавало мне повод и случай к поучительному уроку, разумеется — для самого себя» (7, 136—137).

Известно, что Даль намеревался изложить Священное Писание «применительно к понятиям русского простонародья» (1, LXXXI). Из Нового Завета он таким образом пред-

ставил главу 13 Евангелия от Матфея, всю наполненную притчами (о сеятеле, о пшенице и плевелах, о горчичном семени). Перевод Даля до нас не дошел. Но в рассказе «Бред» он дал свою притчу о тленном и вечном.

3

Художественное творчество Даля с самого начала, как известно, сочеталось с его лексикографическими занятиями, а к этой работе он подходил отнюдь не в качестве бесстрастного систематика. «Словесную жизнь человека» он, по собственному признанию, воспринимал как «видимую, осязаемую связь, союзное звено между телом и духом» (Сл. I, XV)³⁰. Поэтому самобытное слово в произведениях Даля так значимо.

Достаточно, например, сколь угодно наскоро пробежать зачин далевского рассказа «Рогатина», чтобы не зацепиться за непривычные лексемы:

В тесной избе, загроможденной двумя ткацкими станками и двумя зыбками на очепá, горела яркая лучина. Светец был поставлен на приступок голбца, а рядом со светцом, для поправки лучин и присмотру за ними, сидел старик с порядочно лысиной и внук его, парнишка бброноволок. Две молодые ткачихи работали усердно и заглушали стуком и скрипом беседу старика (5, 104).

Для полного воссоздания представленной здесь колоритной картины обычного крестьянского вечера нам просто необходимо обратиться к «Словарю» Даля, чтобы открыть смысл таких слов, как *очеп*, *голбец*, *бороноволок*, два из которых в тексте выделены ударением и тем самым отмечены как малознакомые для читателя, но автору необходимые — отнюдь не во имя пресловутого этнографизма. Тогда станет понятным, что здесь имеются в виду перевес, на котором

³⁰ Здесь и далее сноски на словарь В. Даля даются с пометой «Сл.» и с указанием номеров томов и страниц издания: *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. СПб., 1898.

качается привешенная к потолку зыбка (Сл. IV, 775), припечье со ступенками для входа на печь (Сл. I, 366) и парнишка лет 10–15 (Сл. I, 117). Но это лишь первичная информация, которая в «Словаре» сопровождается важными для сюжета рассказа примечаниями. Оказывается, например, что в слове *бороноволок* заключен важный стилистический оттенок: не просто *боронщик*, т. е. погонщик, правящий лошадей при бороновании, а именно молодой парнишка, который годен пока еще для подсобной работы.

Оба главных героя рассказа, старый и малый, приспособлены лишь для сильной помощи усердным труженицам, но они беседуют: парнишка слушает деда, переспрашивает его, любопытствует, а стало быть, не столь уж и бесполезен для них обоим этот долгий зимний вечер.

А потом к деду Герасиму заглядывают вернувшиеся из леса молодой парень Сенька и *середовый* мужик Макар с секретным сообщением об обнаруженных следах *босого лесника*, и вырабатывается тайный же план с утра пойти на схватку с косматым. Почему тайный? Вероятно, не только потому, что женщины, услышь они о стоворе, могли бы воспрепятствовать небезопасной для старика охоте, но и потому, что самими мужиками схватка с медведем ощущается как таинство, полный скрытого смысла обряд. Отсюда и перифрастическое название зверя, и по сути тотемное предание о лесном хозяине³¹, и сам древний снаряд для охоты

³¹ «Ведь и он, сказывают, был человеком, да оборочена их в медведей целая деревня стариком каким-то за то, что не приняли его, никто не пустил ночевать» (5, 108). В книге «О поверьях и суеверьях русского народа» В. И. Даль дал более развернутое изложение этой легенды: «Поэтические поверья переходят непосредственно в басни, притчи или иносказания, иногда принимаются в прямом смысле и многие верят слепо тому, что придумано было для одной забавы. К этому числу принадлежит поверье о том, что медведи некогда были людьми, к чему, конечно, подала повод способность медведя ходить на двух ногах и поступь его, всей плюсной, по-человечьи; люди эти жили в лесу, ни с кем не знали и были не хлебосольны, не гостеприимны, Однажды

(давший заглавие рассказу) — рогатина, бережно хранимая дедом Герасимом.

Далее дается точное описание крестьянской охоты на медведя. Но в колоритных деталях явственно проступает ее бытийное значение. «Общее начало»³² здесь внятно озвучено. Недаром взгляд писателя задерживается на процессе отделки охотниками *ратовиц* (от *рати*), древков для принесенных в лес рогатин. Или такая подробность охотничьего обряда:

Остановились и пошли по следу. Увидев его, старик снял шапку, перекрестился на восток солнца, а прочие за ним тож; потом стали они кланяться друг другу и просить прощения, как бы прощаясь навек: «простите меня грешного, православные, Христа ради, простите». Наконец Герасим достал нож свой, отошел в сторону, срезал прут вилочкой, заострил концы, нагнувшись прошептал что-то, воткнул вилочку в один из следов огромной медвежьей лапищи, еще перекрестился и, покончив дело это, скорыми шагами возвратился к товарищам. Все трое пошли к дровням своим и поехали.

— Что, приткнул? — спросил Макар.

— Приткнул; был бы тут только, так не уйдет (5, 111).

Но художественный строй произведения вовсе не исчерпывается ни мастерским описанием охоты, ни ощущением вековой борьбы с нечистым. Все это просвечено психологической коллизией преемственности поколений, представленных опытным дедом Герасимом, середовым мужиком Макаром и молодым парнем Сенькой,

зашел к ним благочестивый старец, постник и сухоядец, и, постукавшись тщетно сподряд у всех ворот, прошел все село из края в край, отряс прах с ног своих и проклял недобрых хозяев, велел им жить отныне в берлогах» (10, 402).

³² А. Н. Пыпин полагал, что Даль, при всех его верных наблюдениях о народной жизни, «не умеет возвести их к общему началу». См.: Пыпин А. Н. История русской этнографии. СПб., 1890. Т. 1. С. 417–418.

впервые участвующим в схватке с косматым. И потому едва ли не самым любопытным героем рассказа становится бороноволок Ванюшка, выпросившийся у деда на охоту втайне от матери и пока еще по малолетству взятый лишь к лошадям, но и тем счастливый и довольный. Недаром именно на нем фиксируется впоследствии внимание читателей. Парнишку после возвращения с охоты распекает мать:

...погоди, пострел, я тебя, ужо: уж и ты никак у меня на медведей повадился? Глупый, неразумный, издерет медведь тебя, а вот отец с извозу воротится, да с меня спросит, а? погоди! (5, 116).

На эту остротку Ванюшка, понутив голову, скрытно улыбнулся, будто подумал: «Ну коли расправа до отца отложена, так ладно. Ныне, так бы страшно, а когда-нибудь — ничего» (5, 117).

На охоте ему, однако, не было страшно.

Вспомним, что рассказ открывается упоминанием о беседе старого и малого, приспособленных для пустяшной работы. Но у деда — память, за внуком — следование заветам. Весь рассказ о бытовом праздничном случае одухотворен поистине бытийственным величием. И потому те же *зыбки на очепях* — не просто этнографическая деталь: вполне понятно, что, когда бороноволок повзрослеет, на смену ему придет новое поколение.

4

Диапазон художественного дарования Даля необычайно широк. Мягкий юмор в повествовании о народном быте нередко сменяется в его творчестве едкой сатирой в обличении всесильного и по-русски беспардонного чиновничьего произвола. Масштабы этого социального зла означены самим заглавием одного из произведений «Европа и Азия». По форме это не более как анекдот: «короткий по содержанию и сжатый в изложении рассказ о замечательном или забавном случае; байка, баутка» (Сл. IV, 17). Речь

идет о судебном казусе, о запутанном деле, хитро, тем не менее, повытчиком разрешенном.

Суть происшествия заключалась в следующем. В Казани было несправедливо решено дело о наследстве, что ущемляло интересы одного из просителей. С места службы из Молдавии он явился в Казань и узнал, что по закону срок обычной апелляции минув, а стало быть, и иск его бесполезен. Но опытные люди подсказали обиженному, что установлен тройной срок для подачи апелляции: «один срок назначен для пребывающих в России, другой же для заграничных участников, а третий для такого случая, когда тяжущийся находится в другой части света» (7, 169). Третий из этих сроков по делу пока не прошел. Вот тут-то и оказалась насущной не решенная однозначно тогдашней наукой проблема о европейской восточной границе³³.

Для решения запутанного вопроса отнеслись к ученому мужу, директору казанских училищ. При этом чиновник «несколько переиначил вопрос, предположив, что земля Молдавия должна находиться, по мнению просителя, в другой части света, чем Россия; все это притом было высказано не совсем ясно, из предосторожности, чтобы не проговориться, так как вообще вся связь этого дела, по сложности и запутанности его, представлялась несколько в тумане» (7, 171). Ответ был получен в высшей степени государственный (до ничтожных ли географических изысканий ученому мужу!): «хотя-де Молдавия, страна, подведомая Турции, и состояла поэтому при той части света, которая именуется Азией, но что она в новейшее время, а именно по Тильзитскому миру, отошла к Европе» (7, 171). Тяжба тем самым была потерпевшим проиграна к полному удовольствию отрабатывающих свой неправедный хлеб судейских.

³³ Ср. в «Робинзоне Крузо» Д. Дефо (Л., 1929): «Наконец, переправившись через Каму, которая в тех местах служит границей между Европой и Азией, мы вступили в Европу; первый город на европейском берегу назывался Соликамском» (с. 742).

Такова рассказанная писателем баутка. В «Словаре» Даля дифференцируются баутки со смыслом и без смысла (набор слов, пустобайки). В качестве примера для первых из них приводится такой:

Всё ли дома по добру? – Всё, слава Богу, только любимый ворон ваш объелся падали. – Да где же он ее нашел? – Да вороной жеребец пал. – Как так? – А как усадьба горела, так на нем воду возили, да загнали. – Как усадьба? отчего? – Да как матушку вашу со свечами хоронили, так невзначай подожгли (Сл. I, 55).

Рассказ «Европа и Азия» – несомненно, баутка со смыслом: нелепая история здесь нарастает по спирали хитрых уловок, венчаясь нелепым приговором. Ведь проситель был, безусловно, прав по существу тяжбного дела, а вполне возможно – и в отношении срока его давности. Ссылка на Тильзитский мир (1807) достаточно точно хронологически определяет описанный казус – до 1812 года, когда был заключен Бухарестский мир, только после которого Молдавия и вошла на законных основаниях в состав Российской империи. Фактически же с 1806 г. она была занята русскими войсками в ходе войны с Турцией³⁴. Понятно, что уже в ту пору там появились и русские чиновники. В рассказе специально отмечено, что проситель перешел из Херсона на службу в Молдавию, «где в то время, знаете, было наше управление; жалованьишко повыше, да никак еще и по *заграничному* расчету» (7, 167). Стало быть, проситель не просрочил третьего по закону срока давности: он в момент тяжбы был, во-первых, вне пределов России, а во-вторых, конечно, в Европе (географические проблемы не решаются военной кампанией). Не просрочил... если допустить, что Казань находилась в Азии (а некоторые тогдашние гео-

³⁴ См.: История XIX века. Т. 2. М., 1938. С. 156–157, 175–176. По Тильзитскому же миру решений по Молдавии, конечно, не принималось, хотя Наполеон и пообещал Александру I поддержку по этому вопросу (см.: Там же. Т. 1. С. 141).

графы считали именно так!). Но что чиновнику до «материй важных»!.. Концовка рассказа выявляет актуальный смысл давней истории.

— Однако, — заметил собеседник, приподняв значительно брови и уставив глаза в глубокой думе вперед себя, — однако, сударь мой, времена мудренеют. Стало быть, мне, заседателю гражданской палаты, ради подобной и вздорной просьбы приходится изучать географию, да сверх того еще какое-то положение о Тильзитском мире?

— Совсем не нужно, — перебил другой, — и никто вас об этом не просит; вы видите, что и тут дело без этого обошлось; на то ученые: они вот разобрали дело без вас, а вам остается только подвести справку — оно и в шляпе (7, 171).

На первый взгляд, два чиновника разбирают запутанный судебный казус лишь теоретически. Однако в начале рассказа, после рассуждения от автора насчет границ между Европой и Азией, воспроизведена заключительная часть беседы (своеобразный пик айсберга) людей вполне практических: дается наглядный пример, как следует выходить из затруднительных положений («Да то ли еще на этом свете бывает сомнительным или по политическим и другим видам неизвестно? Вот, например...» и проч. — 7, 165). Вполне очевидно, что старший призывает не робеть в чиновничьем произволе. Недаром младший здесь вроде бы ни к селу ни к городу замечает, что пора бы поскорей «дойти до чаю». На что собеседник, казалось бы, совсем некстати откликается: «Ну так вот, послушайте ж меня, тогда поймете» (7, 165).

Смысл этих реплик опять же отчетливо проясняется «Словарем» Даля: *вместе чай пить* — фразеологизм, означающий «заключить сделку» (Сл. IV, 580). В целом же далевская «баутка со смыслом» обнажает обычное и, к сожалению, неизбывное всесилие российских чиновников, простирающееся на необъятных просторах Европы и Азии. И государственная демагогия чинуш доселе нам ведома.

Словарные занятия Даля не только обогащали его язык как писателя, но подчас стимулировали настраивать сами сюжеты рассказов по значению полифоничного слова. Эту особенность оригинального далевского художественного стиля можно продемонстрировать на примере его новеллы «Прокат», само заглавие которой звучало интригующе неясно: такого слова (в его живом бытовании) было бы напрасно искать в Академическом словаре³⁵.

Новелла начинается описанием праздника, устроенного командиром образцовой артиллерийской роты для окрестных помещиков (а более — для их жен и дочек). Расходы на роскошное гуляние были покрыты за счет продажи казенных лошадей в соответствии с таким глубокомысленным рассуждением лихого капитана (не прототипа ли нынешних мундирных казнокрадов?):

... решительно ни к чему содержать в мирное время конную артиллерийскую роту в таком виде, будто ей завтра же выступать против неприятеля. Слава Богу, все спокойно, невозможно и ожидать теперь каких-нибудь движений — из ведомостей наших даже видно, что по всей Европе господствует непробудный покой. Далее, рассуждал капитан, стоим мы в самой середине, в глубине России; какой тут неприятель? — Покудова очередь дойдет до меня, я успею справиться и снарядиться; к чему же содержать несколько сот дорогих лошадей, и сверх того еще кормить их? Я на одном фураже выиграю в несколько месяцев столько, что поправлюсь, покрою все расходы и опять обзаведусь лошадьми, да и какими? Чудо! Перешеголяю всех (5, 153).

³⁵ В первом издании «Словаря Академии Российской» это слово вообще не зарегистрировано. Во втором издании отмечено лишь одно его значение: «Деньги, платимые за вещи, которые на короткое время для употребления из лавок берут» (Словарь Академии Российской. СПб., 1822. Ч. V. С. 556).

Но заподозрив — по слухам — неладное, генерал предписывает провести учение, на которое он сам обещает прибыть. Лошади, необходимые для смотра, призанимаются, по одной-двух и на короткий срок у многих окрестных помещиков, жены которых — каждая в отдельности — убеждены, что именно к их дочкам в скором времени намерен посвататься столь выгодный жених.

Смотр проходит блестяще. Генерал, якобы лишь для демонстрации, приказывает выступить маршем, а на самом деле переводит все подразделение в далекую губернию, местонахождение которой, надо полагать, для истинных владельцев отборных коней остается покрытым военной тайной...

— А где же наш капитан? — спрашивали помещики вполголоса, встречаясь друг с другом... И в ответ на это вздыхали, пожимали плечами, и грустно покачивали головой.

А что говорили барыни? Если бы от недоброго помину звенело в ушах, как говорит у нас поверье, то, конечно, такого трезвону не бывало от сотворения мира, какой бы денно и ночью должен был раздаваться в голове у нашего капитана (5, 157).

Собственно, все три сюжетных пика запрограммированы уже в заглавии новеллы. Ведь *прокатать деньги* — значит попросту их промотать (в данном случае, на роскошное празднество), собственно *прокат* — отдание вещи на подержание и самая плата за это (ведь кони были даны капитану тоже небескорыстно), а *сездить куда для прокату* — прогуляться (прогулка артиллерийской роты, впрочем по воле бдительного начальства далеко зашла).

6

Фантастическая струя, как и притчевый подтекст, редко выходила у Даля на поверхность, но разными бликами также отсвечивала в его произведениях, «этнографизм» которых и в силу этого приобретал высокое художественное качество.

Бесхитростен рассказ херсонской крестьянки Домахи о том, как ее занесло на чужбину, где она вынуждена расплачиваться за чужие грехи («Беглянка»). Можно было бы все дело свести к извечной народной мечте о золотом царстве, куда чуть ли не попадает и сам рассказчик, очутившийся на турецкой чужбине в настоящей русской деревне. «Поразительно, — удивляется он, — было встретить тут все обычаи и весь быт русский, коренной, исконный, который даже не всегда и не везде можно найти в России. Изба и почти вся утварь русские, только посуда частью медная, луженная изнутри и снаружи, а частью глиняная, превосходной выделки и вида; не горшки, а античные кувшины, урны и вазы...» (5, 10).

Не сюда ли стремился и муж молодежи?

Естественно, из крепостной неволи он «хочет на волю в туречину, где нет ни некрутчины, ни податей; где винограда, меда и молока вволю и где наши русские живут как в раю (...) там-де нет и работы, а все лежебоки и все от султана большое жалование получают, а земля такая, что все сама родит, а народу воля на все четыре стороны, ступай куда хочешь» (5, 12). Прекрасный знаток народной поэзии, Даль, в сущности, воспроизводит в мечтании Стецька обычный топос волшебной сказки о золотом царстве³⁶.

Но в реальной жизни чудесный помощник предстает оборотнем: он грабит и убивает наивного мужичка и берет в полон его жену. «Расторопный мужчина», как выясняется, безбедно живет этим промыслом, и потому-то изба его становится полною чашей.

Выразительно кольцевое обрамление бывальщины. Вначале рассказчик восхищен «коренным русским бытом», открывшимся ему на чужбине. Но после того, как стало известно, каков воистину хозяин, тот снова появляется в избе, обрывая рассказ Домахи.

³⁶ См.: *Пронн В. Я.* Исторические корни волшебной сказки. Л., 1986. С. 281–282.

Хозяин подсел ко мне ласково и весело, стал беседовать и расспрашивать о всякой всячине и выпроводил меня утром с поклонами и пожеланиями, помянув несколько раз Бога, без которого, по его словам, ни до порога и от которого он желал мне и сам ждал, коли Его святая воля будет, всякого благополучия... (5, 17).

Не быт для казака Луганского был главным. Одним штрихом в произведении отмечено, почему так весел оборотень, какого благополучия ждет (от Бога!?) он ныне: ведь выходил-то он из избы для разговора с *указчиком* (то есть со старшим) и, видно, снова собирается пойти на дело, которое, как становится понятным, накрепко здесь слажено.

Давно замечено, что в творчестве Даля таится немало типов и коллизий, которые впоследствии легли в основу пространных художественных полотен классической русской литературы («Обломов» Гончарова, «Фальшивый купон» Л. Толстого, «Подпоручик Киже» Тынянова, «Золотой теленок» Ильфа и Петрова и т. д.). Возможно, еще появится и роман на тему далевской «Беглянки», до сих пор трагически актуальную.

И еще одно. По мнению Тургенева, Далю не удавалось изображение женщин³⁷. Но разве художественно не самодостаточен, к примеру, трагический образ Домахи?

7

Тема «Пушкин и Даль» обычно в литературоведении рассматривается лишь на биографическом материале. Художественная манера казака Луганского, одного из ведущих представителей «натуральной школы» на заре ее становления, качественно отличается от пушкинской повествовательной прозы, стремительной в сюжетном построении и экономной в бытовых подробностях.

Однако творческие контакты духовно близких друг другу писателей были разнообразны, их еще предстоит вы-

³⁷ См.: Тургенев И. С. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 297.

явить. Рассказывая об оренбургском общении с Пушкиным, Даль вспоминал: «Он усердно убеждал меня написать роман»³⁸. На этот призыв казак Луганский, однако, откликнулся лишь много лет спустя повестью «Павел Алексеевич Игривый», напечатанной в журнале «Отечественные записки» (1847, № 2).

Повесть была высоко оценена В. Г. Белинским в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года»:

К замечательнейшим повестям прошлого года принадлежит «Павел Алексеевич Игривый», повесть г. Даля («Отечественные записки»). Карл Иванович Гонобобель и ротмистр Шилохвостов, как типы, принадлежат к самым мастерским очеркам пера автора. Впрочем, все лица в этой повести очерчены прекрасно, особенно дражайшие родители Любоньки; но молодой Гонобобель и друг его Шилохвостов — создания гениальные. Эти типы довольно знакомы многим по действительности, но искусство еще в первый раз воспользовалось ими и передало их на приятное знакомство миру. Повесть эта нравится не одними подробностями и частностями, как все большие повести Даля; она почти выдержана в целом как повесть. Говорим почти, потому что трагическое для героя повести событие производит на читателя впечатление чего-то неожиданного и непонятного. Человек так любил женщину, столько делал для нее; она, по-видимому, также любила его; беспутный муж ее умер; друг спешит за границу на свидание с ней, окрыленный надеждами любви, и видит ее замужем за другим. Дело в том, что автор не хотел окрасить своего рассказа тем колоритом, по которому читатель бы видел естественность такой развязки. Игривый — человек комически робкий и стыдливый, почему и позволил двум негодьям из рук вырвать у него невесту. Во время страданий ее супружеской жизни он вел себя в отношении к ней как деликатнейший и благородный человек, но несколько как любовник: оттого ее оробевшее, запуганное чувство к нему скоро обратилось в благодарность, уваже-

³⁸ Пушкин и его современники. Вып. 1 (40). СПб., 1999. С. 15.

ние, удивление, наконец, в благоговение; она видела в нем друга, брата, отца, воплощенную добродетель и уже по тому самому не видела в нем любовника. После этого развязка понятна, равно как и то, что Игривый на всю остальную жизнь сделался каким-то помещанным шутком³⁹.

В таком истолковании повести резкое несогласие вызывает трактовка ее главного героя как «человека *комически* (курсив мой. — С. Ф.) робкого и стыдливого».

Возможно, на это определение критика натолкнула странная, водевильная фамилия Павла Ивановича, вынесенная в заглавие произведения. Обратившись к «Словарию» Даля, мы, казалось бы, не найдем объяснения такого наименования. Ведь «*Игривый* — охочий играть, шалить, резвиться; резвый, пылкий, скорый и разнообразный в движениях тела или ума» (Сл. 2, 8). Ни одно из этих определений, на первый взгляд, не подходит к герою повести⁴⁰. Особо контрастным по отношению к заглавию выступает пролог произведения, рисующий безнадежно опустившегося человека, но заканчивающийся авторским предостережением:

Что же читатели скажут о Павле Алексеевиче, о быте его и роде жизни, которую мы старались изобразить точно и верно? Я думаю, что иной, может быть, и вовсе незлобный столичный житель готов будет, с чувством собственного достоинства, пожать плечами и назвать его животным; может быть, даже и самый снисходительный приговор будет еще довольно жесток для скромного деревенского жителя и не избавит его от сострадательного презрения. Но всегда ли наружность достаточно изобличает внутреннюю ценность человека? почему знать, что помещик наш передумал и перечувствовал на веку своем, не взирая на бесчувственную, довольно плоскую и бессмысленную наружность? (5, 7)

³⁹ *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. Т. X. М., 1996. С. 348—349.

⁴⁰ А между тем семантическая определенность в той же повести просматривается в фамилии Шилохвостова.

Уже здесь, словно эхом, откликаются онегинские строки:

— Зачем же так неблагосклонно
Вы отзываетесь о нем? (VI, 169)

Всё дальнейшее повествование посвящено апологетике Павла Алексеевича, его подвига самоотверженной безответной любви. Ключ к характеру героя и к его судьбе, как нам представляется, автор дает как бы между прочим, упомянув о горничной героини, взятой Павлом Алексеевичем в няньки к оставленным на его попечение детям Любаши:

Маша подросла, сложилась, похорошела, распевала на весь двор ясным голосом своим перенятые у барышни романсы, или бежала с рукомойником под гору, чтобы принести своей повелительнице ключевой, холодной воды умыться и громко читала наизусть «Цыган», «Полтаву» или «Онегина», делая без всякого дурного умысла небольшие поправки, в роде следующей:

В свою деревню в ту же пору
Помещик новый прискакал,
По имени Владимир Ленской;
С душою прямо «гренадерскою»,
Красавец, в полном цвете лет (5, 68).

Лишь на первый взгляд такое сближение далевского и пушкинского героев безосновательно. Павел Алексеевич не пишет стихов. Но душа его, как выяснится, поистине поэтическая. Ряд же сюжетных моментов повести неизбежно вызывает в воображении читателей тень Ленского. Напомним, что Павел Алексеевич — также студент (хотя и не геттингенский, да и недоучившийся), что уводит от него героиню улан залетный, а главное — в повести Даля по-лемически переосмыслена возможная судьба Ленского, не погибни он на нелепой дуэли:

А может быть и то: поэта
Обыкновенный ждал удел.
Прошли бы юношества лета:
В нем пыл души бы охладел.

Во многом он бы изменился,
Расстался б с музами, женился,
В деревне счастлив и рогат,
Носил бы стеганный халат (...) (VI, 133).

В противовес этому в «обыкновенном уделе» Даль открывает достойное служение героя своему немеркнущему идеалу. Поэтичность натуры Павла Алексеевича раскрывается в его письме Любаше:

...Успокойтесь же: вы вправе располагать собою, и никто в мире не может сделать вам за это упрека. Вы принадлежали только себе и более никому. Если сосед этот и строил когда-нибудь воздушные замки, то никто, по крайней мере, ни вы — никто, говорю, не давал ему ручательства в осуществлении его бреда. Вы не станете судить строго этого соседа, если он и обманывал сам себя временно, как, может быть, и вы некогда обманывались; он пробудился от обаятельного сна, не ропщет на суровую действительность, а благодарит даже за то, что был некогда счастлив во сне, и говорит: если даже избранному суждено жить только воспоминаниями и надеждой, то рядовой может удовольствоваться и одними первыми; он еще будет в барышах против того, кто век свой должен тешиться одною только надеждой, между тем как у него все прошлое представляет залежь, поросшую чертополохом... (5, 98—99).

В сущности, это парафраз пушкинского стихотворения:

Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимым быть другим (III, 188).

Собственно, в этом монологе мы находим объяснение странной фамилии героя: ведь *игривый*, как мы помним, —

это человек «резвый, пылкий, скорый и разнообразный (...) в движениях ума». Разве не таков Павел Иванович в своей мечтательной любви?

Повесть Даля вскоре получила литературный отклик: в последнем номере «Современника» за 1847 год была напечатана повесть А. В. Дружинина «Полинька Сакс», в которой содержалась сходная коллизия. И неожиданным эхом к повести «Павел Иванович Игривый» отзовется одно из поздних стихотворений Ф. И. Тютчева:

Играй, покуда над тобою
 Еще безоблачна лазурь;
 Играй с людьми, играй с судьбою,
 Ты — жизнь, назначенная к бою,
 Ты — сердце, жаждущее бурь.
 Как часто грустными мечтами
 Томимый, на тебя гляжу,
 И взор туманится слезами...
 Зачем? Что общего меж нами?
 Ты жить идешь — я ухожу.
 Я слышал утренние грезы
 Лишь пробудившегося дня...
 Но поздние, живые грозы,
 Но взрыв страстей, но страсти слезы —
 Нет, это все не для меня!
 Но, может быть, под зноем лета
 Ты вспомнишь о своей весне...
 О, вспомни и про время это,
 Как о забытом до рассвета
 Нам смутно грезившемся сне⁴¹.

В первой строфе этого стихотворения переосмыслена поговорка, приведенная Далем в словарной справке к слову «играть»: *Судьба людьми играет, как мячиком*. Может показаться, что именно об этом и рассказано в повести Даля. На самом же деле в своем самозабвенном служении любимой

⁴¹ Тютчев Ф. И. Лирика. Т. 1. М., 1966. С. 187.

обрел свое горькое счастье Павел Алексеевич Игривый — тем самым по-своему переиграл судьбу.

Таковы избранные нами несколько разножанровых произведений В. И. Даля: «Сказка о Георгии Храбром и о волке», притча «Бред», очерк «Рогатина», баутка «Европа и Азия», новелла «Прокат», бывальщина «Беглянка», повесть «Павел Иванович Игривый».

Одной из насущных задач современного далеведения является, несомненно, подготовка научного издания Полного собрания сочинений. Но не менее, на наш взгляд, важным делом было бы тщательно выверенное и откомментированное (прежде всего соотнесенное с его гениальным «Словарем») и, по возможности, массовое издание лучших избранных его произведений, которых, конечно, можно собрать несравненно больше.